

ГЕНДЕР, СЕМЬЯ, СЕКСУАЛЬНОСТЬ. ПРОДОЛЖАЯ И. С. КОНА

DOI: 10.14515/monitoring.2019.2.10

Правильная ссылка на статью:

Чернова Ж. В. Незавершенная гендерная революция // Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены. 2019. № 2. С. 222—242. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2019.2.10>.

For citation:

Chernova Z. V. (2019) The unfinished gender revolution. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*. No. 2. P. 222—242. <https://doi.org/10.14515/monitoring.2019.2.10>.



Ж. В. Чернова НЕЗАВЕРШЕННАЯ ГЕНДЕРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

НЕЗАВЕРШЕННАЯ ГЕНДЕРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

ЧЕРНОВА Жанна Владимировна — доктор социологических наук, профессор, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» в Санкт-Петербурге, Санкт-Петербург, Россия

E-MAIL: zhchernova@hse.ru

<https://orcid.org/0000-0003-3416-5287>

THE UNFINISHED GENDER REVOLUTION

Zhanna V. CHERNOVA¹ — Dr. Sci. (Soc.), Professor

E-MAIL: zhchernova@hse.ru

<https://orcid.org/0000-0003-3416-5287>

¹ National Research University Higher School of Economics in St. Petersburg, St. Petersburg, Russia

Аннотация. Статья посвящена концептуализации современного российского гендерного порядка. Для этого автор использует идею И. С. Кона о трех революциях как социальных процессах переустройства гендерных отношений в сфере сексуальности, семьи, образования и занятости. Также предлагается аналитическая рамка, позволяющая по-новому интерпретировать специ-

Abstract. The article devoted to a conceptualization of Russian actual gender order. For these means, the author uses I. Kon's idea of three revolutions, as a social process of rebuilding the gender relationships in the sexual, familial, educational and occupational spheres. Also, the author introduces an analytical framework to interpret in a new way a specificity of gender relationships (re)

фику (вос)производства гендерных отношений в современной России, а также выделить факторы, как способствующие, так и препятствующие гендерной революции, то есть изменению отношений между мужчинами и женщинами в публичной и приватной сферах в сторону большего гендерного равенства. Концепция множественного равновесия Г. Эспинг-Андерсена и институционального бриколажа С. Данкена позволяют проанализировать взаимосвязь между советским опытом гендерной политики и современными тенденциями индивидуализации и плюрализации. Рассмотрение сексуальной, гендерной и семейной революций в историческом контексте позволяют сделать вывод о том, как происходит (пере)изобретение традиции в современном контексте, как сильно и почему современный гендерный порядок базируется на советском опыте гендерной политики и какой вклад постсоветские трансформации и глобальные тенденции вносят в его специфику.

Ключевые слова: гендерная революция, семья, сексуальность, российский гендерный порядок

production in modern Russia, and identify factors supporting and preventing the change in relations between men and women in the public and private spheres towards greater gender equality, i.e. gender revolution. Using G. Esping-Andersen's concept of multiple equilibrium and S. Duncan's concept of institutional bricolage we can analyze the relationship between the Soviet experience of gender policy and modern trends of individualization and pluralization. When we review the sexual, gender and family revolutions in the historical context, we can find out how the (re)invention of tradition proceeds in the modern context, how the modern gender basing on the Soviet experience of gender policy and how strong it is, and how much post-Soviet transformations and global trends contributed to its specificity.

Keywords: gender revolution, family, sexuality, Russian gender order

Вопрос, каким образом можно концептуализировать современный гендерный порядок, — один из актуальных в области социальных исследований.

То, что за последние несколько десятилетий в большинстве стран произошли фундаментальные изменения в сфере гендерных отношений и приватности, не вызывает сомнений. Эти сдвиги объясняются целым комплексом «больших» трендов структурных изменений, связанных со второй волной феминизма и артикуляцией проблемы гендерного равенства, массовым выходом женщин на рынок труда, вторым демографическим переходом, а также формированием и распространением постсовременных ценностей и социальной трансформацией. Разночтения возникают при попытках обсуждения перспектив развития гендерных отношений в ситуации усиления традиционализма как на уровне идеологии, так и на уровне практик. Это ставит вопрос о возможном сворачивании проекта гендерного равенства

из-за его неспособности противостоять нарастающему консервативному откату, затрагивающему практически все сферы общественного устройства и имеющему сильное гендерное измерение. Противоречивость происходящих процессов в области гендерных отношений и неоднозначность их социальных последствий заставляют исследователей искать объяснительные модели, позволяющие понять сложную констелляцию традиционализма и рациональности, индивидуализма и рефлексивности как проявления детрадиционализма, стандартизации биографий, гендерных ролей и плюрализации жизненных сценариев, моделей гендерных отношений. Особенно важен поиск новой аналитической рамки для понимания российского гендерного случая, который, с одной стороны, встраивается в общие макротренды, являясь частью глобальных изменений в современном мире, а с другой — обладает особой спецификой, обусловленной наследием советского гендерного проекта. Таким образом, необходимо по-новому взглянуть на логику действий различных социальных акторов, которые должны учитывать меняющиеся структурные ландшафты рынка труда и социальной политики.

Революционная оптика как способ понимания социальных изменений

Для социологического осмысления противоречивого и дискутируемого российского гендерного порядка, характеризующегося идеологическим и институциональным «принуждением к традиции» [Печерская, 2012] и формированием новой повестки дня, связанной с поиском места и способа публичного обсуждения гендерно маркированных и гендерно сензитивных вопросов, я буду отталкиваться от работы И. С. Кона о трех революциях [Кон, 2011], а также обращусь к дискурсу о «незавершенной»/«блокированной» гендерной революции [Esping-Andersen, 2009; Gerson, 2009; Hochschild, 2003]. Использование подходов множественного равновесия [Esping-Andersen, 2009; Billari, Esping-Andersen, 2015] и институционального бриколажа [Duncan, 2011] позволит не просто по-новому интерпретировать специфику российского гендерного порядка (понятие, которое по большей части остается «нечетким понятием» (fuzzy concept)) из-за своей размытости, противоречивости и неопределенности, но также выделить факторы, как способствующие социальным изменениям в сфере гендерных отношений, так и препятствующие им.

И. С. Кон определяет социальную революцию как процесс, предполагающий глубинные дискурсивные изменения и выражающийся в трансформации моделей поведения [Кон, 2011]. Он сформулировал тезис о том, что в западных странах во второй половине XX века последовательно развернулись три глобальные революции: сексуальная, гендерная и семейная. Каждая из них имеет собственную повестку, субъектов действия и приводит к определенным изменениям гендерного порядка в долгосрочной перспективе. Предпосылками первой — сексуальной революции — являются индивидуализация, ослабление внешнего контроля за сексуальным поведением, появление эффективной и широкодоступной контрацепции, в первую очередь оральных женских контрацептивов. Ее пик приходится в западных странах на 1960—1970-е гг. На уровне дискурсивных изменений сексуальность отделяется от репродукции, на поведенческом уровне происходит либерализация и плюрализация сексуального поведения: снижение возраста

сексуального дебюта, рост числа добрачных и внебрачных связей и пр. Наряду с этим нормализуются гомосексуальные отношения, повышается либерализация сексуальности со стороны общества в целом.

Гендерная революция затрагивается преимущественно публичную сферу: оплачиваемая занятость, образование и политика. Вторая волна феминизма артикулировала проблему гендерного равенства и способствовала созданию институциональных условий для его реализации (получение женщинами политических прав, доступа к высшему образованию, массовый выход женщин на рынок труда). Ведущими процессами гендерной революции стали индивидуализация и плюрализация, позволяющие мужчинам и женщинам выбирать профессию, стиль жизни, и пр. в зависимости от личных предпочтений. Это привело к отходу от тотальной комплиментарности гендерных ролей мужчины-кормильца и женщины-домохозяйки, появлению двухкарьерной модели семьи на уровне дискурсивных представлений. Это находит свое выражение в увеличении числа работающих матерей, повышении уровня образования женщин и ослаблении дихотомизации и поляризации мужских и женских социально-производственных ролей. Гендерная революция необратима, поскольку невозможно переопределить разделение труда, выведя женщин из сферы оплачиваемой занятости, образования и политики. Сохранение участия женщин на рынке труда обусловлено как макроэкономическими факторами (потребность в женщинах как в массовой высококвалифицированной рабочей силе, их вклад в общественное производство), так и микроэкономическими (большинство семей не может прожить на одну зарплату, что делает невозможным реванш патриархата, подразумевающий радикальный пересмотр разделения труда между полами).

Семейная революция, по мнению И. С. Кона, — наиболее парадоксальный сюжет современного общества [Кон, 2011: 58]. Изменения в брачно-семейных отношениях начались в конце XX века и продолжаются до сих пор. Индивидуализация и плюрализация стилей жизни особенно ярко проявляется в сфере семейных отношений и родительства. Дискурсивной тенденцией, характерной для современного общества, является растущая ценность семьи и интимности, субъективного благополучия, автономии и значимости каждого члена семьи. В отличие от традиционной или модернизированной семьи, у (пост)современной семьи остается одна важная, неотчуждаемая функция, которую практически невозможно передать на аутсорсинг другим социальным институтам — это интимность, психологически близкие отношения между членами семьи, не только между супругами, но и между родителями и детьми. Этот сдвиг проявляется в изменении количественных и формальных критериев оценки брачно-репродуктивного поведения индивидов: увеличении возраста матери при рождении первого ребенка, сокращении числа детей в семье (количество рождений на одну женщину), уменьшении числа зарегистрированных браков и увеличении количества разводов, широком распространении незарегистрированных партнерств и социального родительства как способа организации семейной жизни. За этими наблюдаемыми количественными изменениями стоят сложные социокультурные процессы, позволяющие фиксировать изменение социальных норм, сценариев семейной жизни, а также тех смыслов и значений, которые вкладывают индивиды в брак и родительство.

Они свидетельствуют о «качественных» изменениях — возрастающей ценности не просто семьи, а качества супружеских и детско-родительских отношений, субъективного благополучия каждого ее члена. И. С. Кон отмечает, что семейная революция изменяет общество сильнее, чем сексуальная революция 1960—1970-х гг. [Кон, 2011: 59]. Невзирая на явные признаки традиционализации гендерного дискурса, И. С. Кон достаточно оптимистично оценивает перспективы развития гендерного равенства, считая, что «другого пути нет... Жить в сегодняшнем мобильном и изменчивом мире по понятиям воображаемого прошлого люди не захотят и не смогут» [Кон, 2011: 64].

Несмотря на бесспорные свидетельства происходящей трансформации гендерных отношений в сторону большего равенства, ряд исследователей для описания современной ситуации использует понятие «незавершенной/блокированной» революции [Esping-Andersen, 2009; Gerson, 2009; Hochschild, 2003]. Его суть заключается в констатации неоднозначного и часто противоречивого состояния гендерных отношений как в публичной, так и в приватной сфере. Оно указывает на разные векторы изменений, которые произошли с фемининностью и маскулинностью. В то время как репертуар возможных ролей и жизненных выборов женщин существенно расширился в результате послевоенных экономических, политических, социальных и культурных изменений, нормативный мужской ролевой набор остался практически неизменным. Исследователи единодушны в том, что причина незавершенной «женской» революции заключается в сохранении гендерной асимметрии в сфере семьи и родительства. Она выражается в том, что женщины по-прежнему вкладывают больше временных, эмоциональных и других видов ресурсов в выполнение неоплачиваемой домашней работы, в заботу о детях и на поддержание семейных связей, по сравнению с мужчинами, которые инвестируют свои усилия преимущественно в сферу профессиональной занятости [Saraceno, 2011]. По мнению Н. Фрейзер, революция остается незавершенной именно потому, что мужчины пока не стали тем, кем являются сегодня большинство женщин, а именно работниками и поставщиками заботы [Fraser, 1994].

Статистические данные и результаты количественных исследований гендерного разделения оплачиваемой и неоплачиваемой работы убедительно демонстрируют разницу в ключевых маркерах профессионального и семейного поведения мужчин и женщин: в числе работающих родителей детей младшего возраста, разнице в оплате труда, количестве родителей, воспользовавшихся правом на отпуск по уходу за ребенком, продолжительности времени, которые тратят партнеры на заботу о ребенке, выполнение домашней работы [Breen, Cook, 2005; Hook, 2006; van der Lippe et al., 2011]. При этом различия как между мужчинами и женщинами, так и между странами более значительны в количестве времени, затраченного на выполнение неоплачиваемой домашней работы, чем в оплате труда [Saraceno, 2011]. В совокупности эти данные свидетельствуют о том, что именно то, каким образом организована и осуществляется забота о детях, является главным дифференцирующим основанием гендерных и межстрановых различий, а также критерием формирования неравенства среди мужчин и женщин. Если для отцов во всех странах, как правило, характерно, что они работают больше, чем бездетные мужчины, то для матерей верно обратное утверждение.

При этом разница в занятости между матерями и бездетными женщинами больше, чем между бездетными мужчинами и бездетными женщинами [Saraceno, 2011]. Таким образом, наличие ребенка и последующие за этим «карьерные штрафы» по-прежнему наиболее значительны для матерей.

Лейтмотивом всех глобальных революций является поиск нового устойчивого равновесия — нормативных и конвенционально одобряемых моделей поведения мужчин и женщин [Esping-Andersen, 2009], — выстраиваемого на основе гендерного равенства как в публичной, так и в приватной сфере. При этом каждая из выделенных революций обладает характерными чертами, своей логикой и протекает по-разному в зависимости от политического, экономического и культурного контекста. Невозможно назвать точные даты начала и окончания социальных изменений в той или иной сфере. Скорее, эти социальные процессы накладываются друг на друга, при этом имея разные траектории и протекая с разной интенсивностью, что приводит к неравномерным изменениям общественного устройства во временной, сравнительной и классовой перспективе.

Необходимо отметить, что именно женщины выступают субъектами изменений, поскольку особенно их положение претерпевает существенные изменения. Все выделенные И. С. Коном революции возглавляют женщины с высшим образованием, имеющие более высокий статус, притязания и ресурсы для создания новых правил гендерных отношений. Примером может служить переход от нормативного гендерного контракта — домохозяйки — к целому репертуару возможных гендерных ролей и жизненных сценариев. Данный тезис базируется на теориях индивидуализации [Giddens, 1992; Beck, Beck-Gernsheim, 2002]. Новый жизненный сценарий, в котором женщины не ограничены правом быть матерью, является, по мнению К. Хаким, результатом изменений, произошедших в последние десятилетия в западных странах: контрацептивной революции; революции равных возможностей; расширения количества рабочих мест для «белых воротничков», которые более привлекательны для женщин; создание рабочих мест для «вторых кормильцев» с возможностью неполной занятости и возрастающей важностью индивидуальных аттитюдов, ценностей и предпочтений в выборе образа жизни [Hakim, 1999]. На основе анализа эмпирических данных исследователь выделяет три группы женщин.

Предпочтения первой группы сконцентрированы вокруг работы, и материнство не является для них приоритетной областью. В эту категорию попадают бездетные женщины. Основные приоритеты представительниц данной группы связаны с профессиональной занятостью или самореализацией в политике, искусстве, спорте и пр. Такие женщины составляют около 20% в Европе. Вторая группа комбинирует свои предпочтения в отношении семьи и работы, то есть обе сферы жизни важны для них, и они пытаются совмещать материнство и профессиональную занятость. Эта группа разнообразна по своему составу, в нее входят как те, кто хочет комбинировать семью и работу, так и те, кто вынужденно стал кормильцами семьи. Данная группа составляет большинство — порядка 60%. Третья небольшая группа — это женщины, ориентированные преимущественно на семью. В нее входят как женщины-домохозяйки, так и те, кто если бы мог, не работал бы (20%) [Hakim, 2000]. Таким образом, в представлении К. Хаким, за что ее позже

неоднократно критиковали, только личные цели и индивидуальные предпочтения влияют на конкретные причинно-следственные связи на уровне индивидуального поведения. Ее данные прекрасно иллюстрируют вариативность возможных жизненных выборов для женщин, но не позволяют понять взаимозависимость между уровнем индивидуальных предпочтений и нормативными представлениями о гендерных ролях, воспроизводимых на уровне культурных и социальных конвенций и подкрепляемых такими институциональными факторами, как рынок труда и семейная политика. Концептуальные попытки объяснения незавершенного характера гендерной революции представлены в работах Г. Эспинга-Андерсена и С. Данкена [Esping-Andersen, 2009; Duncan, 2011].

Прагматика выбора: множественное равновесие и институциональный бриколаж

Г. Эспинг-Андерсен выделяет три факта, основанных на эмпирических данных, которые свидетельствуют о парадоксальных изменениях в сфере брачно-репродуктивного поведения и которые не могут, по его мнению, быть объяснены ни с точки зрения второго демографического перехода, ни с точки зрения «новой домашней экономики» Г. Беккера. [Becker, 1965; 1973a, 1973b].

Первый факт заключается в том, что такие показатели второго демографического перехода, как снижение уровня рождаемости и рост числа разводов, не привели к радикальным изменениям на уровне индивидуальных предпочтений. Семья по-прежнему остается терминальной ценностью, которая разделяется подавляющим большинством людей. Изучение семейных ценностей и аттитудов показывает удивительную степень стабильности предпочтений в отношении брака, материнства и желаемого числа детей [Esping-Andersen, 2009]. Второй факт — изменение тенденции рождаемости, когда на смену снижения уровня рождаемости, характерного для второй половины XX века, пришло ее повышение. Показатели рождаемости позитивно связаны с экономическим развитием, уровнем доходов и уровнем занятости женщин, а также с дружественной женщинам социальной политикой, позволяющей им сочетать карьеру и материнство [McDonald, 2006]. И, наконец, третий факт демонстрирует, по мнению Эспинг-Андерсена, актуальный демографический разворот, когда ценность семьи, стабильность брака и высокий уровень рождаемости характерны для представителей высокообразованных групп, а рост числа разводов, снижение уровня рождаемости и увеличение количества матерей одиночек — для групп с низким уровнем образования. Эта ситуация выглядит парадоксальной с точки зрения предыдущих теоретических объяснений, согласно которым высокообразованные женщины придерживаются ценностей самореализации, более ориентированы на карьеру и, как следствие, на рождение меньшего числа детей. Эспинг-Андерсен и Биллари видят в этом отчетливую новую тенденцию на стабилизацию и «увеличение» семьи и связывают ее с продолжающейся трансформацией гендерных ролей и отношений, когда гендерный эгалитаризм приобретает все более доминирующий нормативный статус [Billari, Esping-Andersen, 2015].

Применяя множественную систему равновесия, Эспинг-Андерсен утверждает, что динамика изменения семьи является следствием второго порядка разво-

рачивающейся трансформации женских ролей, которая сопровождала эрозию нормативной модели семьи «мужчины-кормильца и женщины-домохозяйки». Если для середины XX века было характерно стабильное семейное равновесие, когда брак заключался в начале жизни, брачные союзы были стабильными, а рождаемость — высокой, то последующие социально-экономические и политические изменения (три гендерные революции по определению И. С. Кона) привели к ситуации неопределенности и нормативной путаницы того, какими должны быть гендерные роли в сфере семьи [Billari, Esping-Andersen, 2015]. Для возникновения нового доминирующего равновесия необходимо, чтобы на смену традиционным гендерным ролям пришли гендерные роли, выстроенные на эгалитарной основе. Для этого необходимо выполнение двух условий. Первое — должно быть достаточно много индивидов, ориентированных на гендерное равенство, критическая масса которых способствует распространению нормативных ожиданий в пользу гендерно-эгалитарных договоренностей. Второе — социальные институты и семейные отношения должны адаптироваться к новым ожиданиям. Исходя из теории рационального действия, эгалитарные гендерные нормы и модели поведения в семье станут распространяться быстрее, если выгоды от их принятия будут высоки, а затраты снизятся.

Для подтверждения своей позиции Билларри и Эспинг-Андерсен обращаются к эмпирическим данным, демонстрирующим положительную зависимость уровня рождаемости от гендерного равенства, а именно социальной политики, ориентированной на поддержку совмещения материнства и занятости у женщин; рост числа зарегистрированных браков и партнерств в странах с преобладающими гендерно-эгалитарными нормами по сравнению с теми странами, где доминирует традиционная гендерная идеология; а также отмечают связь между стабильностью семейных отношений и тем вкладом, который вносят мужчины в выполнение домашней работы и заботы о детях [Billari, Esping-Andersen, 2015]. Таким образом, историческая динамика перехода от устойчивому к множественному равновесию, по мнению авторов, может быть представлена как U-образная кривая, в которой пункт А представляет собой ситуацию, где доминирует модель семьи с мужчиной-кормильцем и женщиной-домохозяйкой. Пункт Б — ситуация, когда под влиянием сексуальной, гендерной революции роли женщин существенно изменились, но пока еще общество ни на уровне социальных и культурных конвенций, ни на уровне институтов не адаптировалось к этим изменениям. Это находит свое выражение в снижении уровня рождаемости и нестабильности брачно-семейных отношений, особенно среди представителей образованных классов. Пункт С демонстрирует ситуацию, когда гендерный эгалитаризм достиг нормативного статуса и формируется новое устойчивое равновесие. При этом равновесие определяется авторами как условие, в котором индивиды действуют на основе общеизвестных ожиданий относительно стратегий действий других. Равновесие приобретает стабильность и становится самовоспроизводящимся, когда индивиды последовательно придерживаются одних и тех же нормативных правил. Для любого индивида издержки в случае отклонения от равновесной стратегии, то есть нормативных предписаний, будут превышать возможную выгоду от выбора ненормативного сценария.

Формирование устойчивого равновесия, основанного либо на традиционном разделении гендерных ролей, либо на гендерном эгалитаризме в сфере семейных отношений, возможно при достижении критической массы сторонников той или иной модели поведения. При этом Эспинг-Андерсен убежден, что гендерные отношения устойчиво изменяются в сторону равенства. Эта тенденция становится всеобщей. Различия же между странами, которые фиксируются многочисленными эмпирическими данными, говорят о разной скорости и траектории перехода от ситуации множественного равновесия — сосуществование нескольких возможных сценариев гендерных отношений — к формированию нового устойчивого равновесия. Экзогенные факторы способствуют переходу, а их сила влияет на скорость происходящих изменений. К триггерам перехода от ситуации А к ситуации Б относятся распространение и доступность контрацепции для женщин, автоматизация домашнего хозяйства, а также феминизация высшего образования. Эти эндогенные факторы привели к тому, что для женщин норма экономической независимости стала почти универсальной, а профессиональная занятость стала важной частью их жизненного сценария. Дружественная женщинам социальная политика, а также семейная политика, ориентированная на достижение гендерного равенства в приватной сфере, усиливает переход к гендерно-эгалитарной модели как устойчивому равновесию.

Так что же, по мнению Эспинг-Андерсена, блокирует гендерную революцию, мешает установлению новой гендерно-эгалитарной модели в качестве устойчивого равновесия? Одной из причин является отсутствие критической массы мужчин, поддерживающих эгалитаризм в сфере гендерных отношений. Если исследование К. Хаким [Hakim, 1999; 2000] показывает, что современные женщины могут быть отнесены к трем группам: ориентированные на семью, ориентированные на карьеру и ориентированные на совмещение семьи и работы, причем последняя группа составляет 60%, то подобных данных о мужчинах, к сожалению, нет. Вторая причина связана с институциональным дизайном семейной политики, тем, насколько ее инструменты способствуют достижению гендерного равенства в сфере семьи и родительства. Именно дружественная семье семейная политика позволяет, иногда через механизмы институционального принуждения (ярким примером является родительский отпуск для отцов в Швеции), ускорить процесс адаптации мужчин к изменившемуся статусу женщин.

Другой подход к пониманию противоречивых тенденций (де)традиционализма в сфере семейных отношений развивает Саймон Данкен [Duncan, 2011], предлагая использовать понятие институционального бриколажа. Этот концепт позволяет увидеть, каким образом происходит (пере)изобретение традиции — системы интерпретации тех или иных событий, социальных и культурных конвенций, а также норм поведения и институтов, и то, как она используется индивидами для того, чтобы адаптироваться к изменившимся структурным условиям. Автор критикует теорию индивидуализации, согласно которой индивиды создают свои уникальные жизненные сценарии под влиянием личных предпочтений и свободы выбора, а не под воздействием традиции. Данкен исходит из представления о том, что люди действуют прагматично, исходя из своих материальных, социальных и институциональных обстоятельств, то есть в рамках определенных ограничений.

Иными словами, люди приспосабливаются к обстоятельствам собственной жизни, используя и заново изобретая традиции, делая это часто неосознанно и почти всегда во взаимодействии с другими людьми и социальными группами.

Исследуя жизненные выборы матерей в Британии, Данкен и его коллеги обнаружили, что именно образованные, высококвалифицированные женщины с высоким человеческим капиталом и лучшими шансами на рынке труда, проживающие в более богатых районах страны, чаще отказываются от профессиональной занятости в пользу материнства. То есть они скорее будут действовать «традиционно», как «правильные матери». В то время как женщины из менее экономически развитых районов страны, таких как Северо-Восточная Англия или Южный Уэльс будут выберут сочетание материнства и работы. Исследователи полагают, что это связано с тем, что у матерей с более низким доходом меньше выбора в достижении «правильного» способа сочетания материнства с оплачиваемой работой, и они вынуждены действовать «ненадлежащим образом» по экономическим причинам [Duncan, 2011]. Для объяснения таких жизненных выборов Данкен использует концепт «гендерной моральной рациональности», который показывает, каким образом различные взгляды на то, как «правильно» сочетать материнство с работой, которые формируются и поддерживаются в определенных социальных условиях, затем соотносятся с более общими экономическими условиями: какие рабочие места доступны для женщин и как они оплачиваются, в итоге определяют сценарий занятости одиноких матерей [Duncan, Edwards, 1999].

Примером того, как работает гендерная моральная рациональность, является то, что происходит с оплачиваемой занятостью одиноких матерей после того, как они вступают в семейные/партнерские отношения. Эмпирические данные лонгитюдного исследования позволили зафиксировать разницу между тем, какие жизненные выборы делают женщины, принадлежащие к разным расовым и этническим группам. В первом случае «белые» матери после вступления в брак или имеющие устойчивые партнерские отношения переходили с работы на полный рабочий день на частичную занятость, а также полностью отказывались от оплачиваемой работы. В то время как чернокожие женщины, наоборот, изменяли свой график работы, выбирая полную занятость. Обе эти группы использовали свои экономические ресурсы для реализации того сценария (не)сочетания материнства и профессиональной занятости, который считали наиболее правильным и соответствующим их представлению о хорошем материнстве. Это происходит потому, что решение о балансе между семьей и работой не является «экономически рациональным», а основывается на коллективных представлениях о том, что считается социально приемлемым для той или иной социальной группы. Данкен отмечает, что поиск баланса — не всегда результат рефлексивного выбора и предмет переговоров между партнерами. Скорее, это рутинное и неосознанное принятие конвенциональных и нормативных представлений о том, что естественно и ожидаемо от представителей того или иного пола [Duncan, 2011].

Именно гендерная моральная рациональность как основа индивидуального выбора ставит под сомнение теоретические представления об индивидуализации, рефлексивной модернизации и постсовременной демократической семье, которые развивают в своих работах Э. Гидденс [Giddens, 1992], У. Бек и Э. Бек-

Гернсхайм [Beck, Beck-Gernsheim, 2002]. Выбор в пользу той или иной версии «правильного» материнства обусловлен гендерными ролями, воспринимаемыми в качестве нормативных моделей и обуславливающих индивидуальное поведение, а не прагматическими мотивами, связанными с доступом к большим ресурсам, получаемым в результате замужества или выхода на рынок труда. Данкен считает, что эти «нелогичные» жизненные выборы с точки зрения рефлексивного индивидуализированного жизненного проекта задаются внешними социальными нормами, основанными на моральных обязательствах перед другими и имеющими классовое, этническое, пространственное измерение, а также референтными группами как трендсеттерами определенных, в том числе гендерных идеологий.

Еще одним примером того, каким образом моральные гендерные рациональности определяют индивидуальные выборы формы семейных отношений: незарегистрированное партнерство vs. зарегистрированный брак. Рост числа незарегистрированных браков в зависимости от точки зрения исследователя может интерпретироваться как показатель кризиса семьи как социального института или как маркер «чистых отношений», базирующихся не на традиционной идее романтической любви и семейных обязательств, а на признаваемой обоими партнерами ценности отношений, которые сохраняются до тех пор, пока они приносят им удовлетворение. Ссылаясь на результаты эмпирических исследований, Данкен утверждает, что партнеры, состоящие в незарегистрированных отношениях, могут вести себя ровно так же, как и состоящие в браке супруги, в вопросах разделения домашней работы, организации заботы о детях, формирования и использования общего бюджета. Для определения своих отношений они часто используют категорию семьи, подчеркивая тем самым значимость, устойчивость и «нормальность» своего выбора. Многие из них полностью не отказываются от идеи брака, не отрицая возможность регистрации своих отношений. Однако, по мнению Данкена, не сам факт юридического оформления отношений, а так называемая белая свадьба является для них способом публичной демонстрации их зрелости, успешности. «Повторное изобретение» викторианской белой свадьбы в 1980-е гг. не только закрепляется в качестве идеала, но и рассматривается индивидами в качестве способа легитимации их отношений. Сценарий свадьбы и соответствующие атрибуты: белое платье невесты, свадебный торт и пр., — показывает, каким образом «старые» символы могут быть использованы в новых социальных и культурных контекстах. Индивиды не просто воспроизводят традиционные паттерны поведения, характерные, например, для поколения их родителей, а вписывают и адаптируют их к изменившемуся социальному ландшафту, наделяя их новыми смыслами [Duncan, 2011]. То есть прагматика выбора той или иной модели поведения определяется нормативными представлениями о том, как необходимо правильно поступать в тех или иных социально-экономических и культурных условиях. При этом именно структурные условия формируют возможности и ресурсы, доступные индивидам, что делает их поведение не столько результатом свободного выбора, сколько следствием привычки или рутины, а также интериоризации характерных для той или иной группы социальных норм.

Эвристические возможности понятия институционального бриколажа позволяют, по мнению Данкена, понять, как агентность индивидов задана социальными

институтами и как она реализуется в повседневной жизни. Автор опирается на работы Мэри Дуглас [Douglas, 1973], которая расширила концепцию «интеллектуального бриколажа» Леви-Стресса. Дуглас сформулировала идею, что «институты думают» от имени людей, и эти институты строятся в процессе бриколажа — сборки и применения аналогий и стилей мышления, которые уже являются частью существующих институтов. Социальные формулы многократно используются при построении институтов, тем самым экономя на когнитивной (и социальной) энергии, предлагая более легкую классификацию и легитимацию тех или иных жизненных событий, систем их интерпретации, а также моделей поведения. Это также подразумевает «институциональную утечку», при которой «наборы правил метафорически связаны друг с другом и позволяют смыслу просачиваться из одного контекста в другой по формальному сходству, которое они показывают» (цит. по: [Duncan, 2011: 7]).

Кливер в своих исследованиях, посвященных использованию природных ресурсов, в отличие от Дуглас, делает акцент на (ре)формировании социальных институтов и предлагает использовать понятие институционального бриколажа [Cleaver, 2002]. Люди сознательно и неосознанно используют существующие социальные и культурные механизмы — существующие институты, стили мышления, социальные нормы и социально одобряемые модели поведения для того, чтобы «соединить» или «собрать воедино» институты в ответ на меняющуюся ситуацию. Таким образом, эти институты не являются ни совершенно новыми, ни совершенно традиционными, а представляют собой динамическую смесь «современного» и «традиционного», а также «формального» и «неформального». В то же время бриколеры обладают разными ресурсами, связанными с их институциональной позицией, что напрямую определяет их способность действовать в качестве бриколеров. Некоторые из них будут в большей степени влиять на изменение конвенциональных представлений и моделей поведения с точки зрения общественного признания, чем другие.

Принцип DIY (Do It Yourself) как способ построения индивидуальной биографии также используется в теориях индивидуализации, когда ««нормальные» биографии любви заменяются «биографиями «сделай сам»» [Beck, Beck-Gernshein, 2002: 5]. Однако концепция институционального бриколажа претендует на то, чтобы стать теорией среднего уровня в семейных исследованиях, позволяя поместить индивидуальные выборы в более широкий контекст (пере)создаваемых социальных институтов. Опираясь на работы Кливер, Данкен формулирует следующие принципы работы институционального бриколажа. Во-первых, в ситуации необходимости приспособления к новым социально-экономическим и культурным условиям индивиды стараются минимизировать свои усилия по разработке и адаптации новых правил. Этого можно достигнуть, если использовать существующие социальные нормы и модели поведения, перестроив их в соответствии с изменившимся контекстом. Во-вторых, потребность в социальной легитимации требует от индивидов определения своих действий в тех или иных категориях. При этом отсылки к «правильности», «разумности» и «нормальности» модели поведения позволяет им минимизировать свои усилия по выработке социально одобряемых правил поведения. В данном случае речь идет не только об адаптации существующих

практик к новым условиям, но и об их институционализации и социальном воспроизводстве как на индивидуальном, так и на коллективном уровне. Традиция позволяет это сделать, поскольку используется как способ легитимации и позиционирования. Она постоянно (пере)изобретается и реформируется посредством того, как индивиды адаптируются к новым социальным ландшафтам. По мнению Данкена, это и есть форма бриколажа сама по себе [Duncan, 2011]. Таким образом, концепция институционального бриколажа позволяет лучше понять, как индивиды приспосабливаются и воссоздают традицию, реагируя на новые обстоятельства, как это может — или не может — обеспечить легитимацию, как смыслы и значения «просачиваются» от старых к новым традициям, а также то, насколько эти процессы и их результаты социально неоднородны.

(Пере)изобретение традиции: незавершенная гендерная революция в России

Что происходит сегодня в сфере гендерных отношений в России? Возможен ли традиционалистский реванш, в ходе которого будет демонтировано наследие советского гендерного порядка? Какие гендерные проблемы актуальны для современного российского общества? Кто и как их должен и может решить? В каких категориях можно определить современный российский гендерный порядок? Эти и другие вопросы, касающиеся траектории и перспектив развития гендерных отношений в российском обществе, составляют актуальную повестку многочисленных публичных дискуссий и академических социальных исследований. Попробуем посмотреть на этот парадоксальный объект изучения сквозь призму описанных выше подходов.

В отличие от западных стран, где последовательно и постепенно разворачивались процессы социальных изменений, затрагивающих сферу сексуальности, участия женщин в оплачиваемой занятости и образовании, а также сфере семьи и родительства, в СССР причины и характер революционных изменений были подчинены другой логике. Исследователи определяют гендерный порядок советского общества как этакратический, поскольку он в значительной степени обусловливался «государственной политикой, задающей возможности и барьеры для действий людей» [Здравомыслова, Темкина, 2003: 436]. Специфика этакратического гендерного порядка заключается в том, что основным агентом формирования и контроля гендерных отношений выступает государство. Именно государственный проект построения нового социалистического общества, а также действия власти, направленные на его реализацию, являются триггером или экзогенным фактором, согласно Эспингу-Андерсену, запустившим процесс (пере)определения гендерных ролей в публичной и приватной сферах.

Специфика советского варианта заключается в том, что сексуальная, гендерная и семейная революции начались с приходом советской власти, то есть на несколько десятилетий раньше, чем это произошло на Западе. Кроме этого, особенностью является то, что все три революции разворачивались не последовательно и постепенно, давая возможность людям адаптироваться к изменившимся правилам общественных отношений и выработать новые поведенческие модели, а стремительно и одновременно. Третье отличие выражается в том, что женщины

были не субъектом, а объектом гендерной политики государства. Основными направлениями советской эмансипации женщины являлись: обеспечение юридического равенства между мужчинами и женщинами; широкое привлечение женщин к общественному труду, участие в управлении государством; коммунистическое воспитание и формирование женщин нового типа; раскрепощение женщин в семье, обобществление домашнего хозяйства; общественное воспитание детей, воспитание девочек и мальчиков на принципах новой коммунистической морали, морали превосходства общественного над личным [Хасбулатова, 2005: 98]. Как видим, «пути раскрепощения женщин» касались как публичной (образование и профессиональная занятость), так и приватной, семейной сферы.

Гендерная революция, связанная с изменением положения женщин в публичной сфере, выражается в массовом доступе и участии женщин в занятости, образовании и политике, являлась неотъемлемой частью советского проекта эмансипации. Женщины рассматривались советским государством как резервная армия труда, что выразилось в последовательной, часто принудительной политике по включению женщин в сферу оплачиваемой занятости. При всех аргументах против, эта революция скорее состоялась, хотя имеет неоднозначные последствия. Так, несмотря на высокий уровень образования женщин, гендерный профиль рынка труда по-прежнему включает как горизонтальную, так и вертикальную сегрегацию занятости, которая выражается в существенном разрыве в оплате труда между мужчинами и женщинами, пенсионных выплатах и общем уровне благосостояния представителей разных полов. А система квотирования не открыла женщинам доступ к ключевым политическим постам, закрепив за ними сферы деятельности, маркированные как социальное материнство, и открыв доступ к низшим уровням власти.

Гендерный контракт «работающая мать» — нормативный образец советской женственности, характерный для нескольких поколений, получал мощную государственную поддержку, при которой стала возможной практическая реализация женского эмансипационного проекта: политическая и экономическая мобилизация женщин, их массовое включение в общественное производство, высокий уровень образования, квотирование участия женщин в органах власти разных уровней и др. В категориях Эспинга-Андерсена, гендерная политика в сфере занятости выступала тем самым экзогенным фактором, способствующим формированию устойчивого равновесия — модели семьи, где женщина обязательно работала, что способствовало дефамелизации женщин, понимаемой как возможность создавать и поддерживать автономное домохозяйство независимо от мужчины. Опыт 1990-х гг., когда в результате либеральных экономических реформ произошел отток женщин из оплачиваемой занятости в сферу неформальной теневой экономики, показал, насколько необходима государственная поддержка для сохранения высокого уровня экономической автономии женщин [Хоткина, 2000]. Тем не менее как минимум три поколения советских женщин имели ценный опыт получения профессионального образования, занятости в разных сферах общественного производства, социальной поддержки по месту работы, материальной независимости и, пусть и относительной, свободы брачно-репродуктивного выбора.

Более парадоксальными представляются сексуальная и семейная революция. Сексуальная революция советского и постсоветского общества имеет свои структурные и культурные особенности. В своих работах, посвященных российской сексуальности, И. С. Кон отмечал, что «исторически традиционная русская сексуальная культура как на бытовом, так на символическом уровне всегда отличалась крайней противоречивостью», где жесткий патриархатный порядок сочетался с фемининным национальным характером и синдромом «сильной женщины», а откровенный крестьянский натурализм интимной жизни сосуществовал с суровым православным аскетизмом. Парадоксальное сочетание консервативных ценностей и либеральных сексуальных практик усиливалось классовыми и сословными различиями [Кон, 2002: 40]. Я допускаю, использование понятия институционального бриколажа как процесса формирования новых социальных институтов с использованием доступных элементов «старых» предполагает (вос)создание той или иной версии традиции, которая используется для легитимации дискурсивных представлений и поведенческих моделей, позволяет по-новому посмотреть на то, как разворачивалась сексуальная революция в России.

Сексуальные эксперименты раннесоветского времени были невозможны без общественных обсуждений сексуальности начала XX века, сексуального дискурса Серебряного века, а также практик интимности, характерных для крестьянской среды.

Новая половая мораль выступала ресурсом для легитимации либеральных аттитудов и паттернов поведения в сфере сексуальности, отвечающих потребностям социалистического общества в противовес капиталистическому «бескрылому Эросу». «Традиционалистский откат» сталинского периода характеризовался государственной монополией на контроль репродуктивного поведения женщин, символическим порицанием добрачных и внебрачных сексуальных отношений, юридическим преследованием гомосексуализма. Лозунг «семья — ячейка общества» стал ведущей идеологемой консерватизма советской сборки, включающего нормативное представление о брачной сексуальности, направленной на деторождение, как о единственно возможной и социально одобряемой модели поведения. Эта модель позволяла трактовать материнство как предназначение женщины (с отсылкой к природе) и одновременно как социальное обязательство женщин-граждан. Позднесоветский период отмечается некоторым смягчением государственного регулирования и общественного контроля в этой сфере, что привело к приватизации сексуальной жизни, относительной индивидуализации и плюрализации моделей сексуального и репродуктивного поведения людей.

Нормативным образцом — «традиционным» репродуктивным поведением женщин — становится малодетность, а также аборт как способ контрацепции. Эта репродуктивная модель представляет собой результат адаптации женщин к изменившимся условиям, когда рациональность выстраивается на основе сравнения выгод и издержек того или иного поведения в конкретном контексте. Несмотря на снижение числа абортов в современной России, а также десятилетний рост рождаемости, начавшийся в середине 2000-х гг., демографические данные позволяют говорить об этом устойчивом, воспроизводящемся образце поведения, который не претерпевает существенных изменений ни в связи с доступностью

как информации о средствах контрацепции, так и самих средств контрацепции, ни под воздействием пронаталистских мер семейной политики, ориентированных на стимулирование рождаемости [Чернова, 2013].

После распада СССР произошел переход от лицемерной сексуальности советского времени, связанной с умалчиванием и низкой рефлексивностью индивидов, к аутентичной сексуальности — проговариваемой, в том числе и публично, главным образом на страницах СМИ [Кон, 1997, 2002]. И. С. Кон выдвинул тезис о том, что существенные сдвиги в сторону либерализации поведения индивидов начались, судя по результатам эмпирических исследований, не в эпоху перестройки и гласности, а уже в 1960-е и особенно 1970-е гг. По его мнению, подростки 1990-х гг. только продолжили этот процесс [Кон, 2002: 42]. Отказ от социалистической идеологии, построение на принципах демократического общественного устройства и рыночной экономики новой России образца 1990-х — начала 2000-х гг. значительным образом либерализовали сферу сексуальности. Разделение репродукции и сексуальности произошло не только на уровне формирования профессионального дискурса о сексе, транслируемого в первую очередь либеральными СМИ, которые выступили площадкой для обсуждений вопросов «про это», к участию в которых в качестве экспертов стали привлекаться специалисты разных профилей, оно также стало возможным, благодаря появлению доступных эффективных способов контрацепции, программ сексуального просвещения и рекламных кампаний, пропагандирующих безопасный секс. В то же время либеральная идеология достаточно сильно повлияла на усиление эссенциализма в интерпретации гендерных отношений. Коммерциализация и гламуризация секса переопределили идеал «романтической любви», сделав востребованными образы сексуально активного и обязательно экономически успешного мужчины и сексуально привлекательной женщины, выступающей объектом мужского интереса и восхищения. Выбор традиционного сценария гендерных отношений стал интерпретироваться как современный и правильный, соответствующий западному стилю жизни, главным образом американскому, знакомому преимущественно по голливудским фильмам и сериалам. В то время как феминизм и ценности гендерного равенства ассоциировались с устаревшим и непривлекательным советским образом жизни. Подчеркнутая сексуальная привлекательность, соответствующая «глянцевым» канонам, стала артикулироваться в качестве ценного ресурса, обладающего высоким уровнем конвертации в другие виды капитала. В таком контексте «забота о себе» как о сексуально привлекательном субъекте становится рациональным проектом, выгода от реализации которого может быть весьма значительной при выстраивании биографии как достижительной стратегии.

Таким образом, отличие российской сексуальной революции от западной заключается, по мнению И. С. Кона не столько в направлении развития, сколько в хронологических рамках и степени общественной рефлексии [Кон, 2002: 42]. То есть траектория и скорость происходящих социальных изменений зависят от политического, социального и культурного контекста той или иной страны. Революционные преобразования начала XX века вывели Россию в авангард социальных изменений, однако последующая консервативная политика государства в сфере сексуальности обеспечила традиционалистский откат, подготовив

почву для сексуальной контрреволюции. Однако на уровне индивидуального поведения можно говорить, что советский вариант сексуальности, связанный со снижением возраста сексуального дебюта, дестигматизацией добрачного и внебрачного секса, «нормализацией» аборта как варианта репродуктивного выбора, плюрализацией сценариев и форм сексуальности представляется устойчивой традицией, на воспроизводство которой оказывает влияние как его длительная история, охватывающая несколько поколений, так и более глобальные изменения в области сексуальных отношений, которые отчетливо прослеживаются в постсоветском обществе.

Семейная революция, начала разворачиваться с первых лет советской власти, поскольку создание нового типа семьи было одним из приоритетов советской политики. Если достижение гендерного равенства в публичной сфере поддерживалось и на уровне деклараций, и на уровне инструментов образовательной политики и политики занятости, то идея о приоритете общественного воспитания так и осталась одним из революционных лозунгов. (Вос)производство гендерного контракта «работающая мать» — нормативного образца советской женственности — включало обсуждение в официальной риторике проблемы баланса семьи и работы, а вся совокупность предпринимаемых действий была направлена на то, чтобы создать благоприятные условия для сочетания женщинами материнства с профессиональной деятельностью и участием в общественной жизни. Наравне с этим сосуществовали консервативные представления о гендерном разделении ролей в сфере семьи и родительства, когда мать рассматривалась как главный поставщик заботы о детях в семье и исполнитель рутинных обязанностей по поддержанию быта. Примером может выступать такая мера семейной политики, как отпуск по уходу за ребенком, право на который имели исключительно женщины. В целом в качестве объектов семейной политики выступали только женщина-мать и ее дети. При этом государство не рассматривало семейные и родительские роли мужчин в качестве своих приоритетов, и большая включенность мужчин в выполнение неоплачиваемой домашней работы не предполагалась даже на уровне задач и инструментов советской семейной политики.

Гендерно-асимметричное родительство и «половое неравенство в быту» [Гордон, Клопов, 1972] являются результатом гендерной политики СССР. Именно политика государства была причиной того, что семейная революция не состоялась, поскольку массовый выход женщин на рынок труда не получил такого же «симметричного ответа» со стороны мужчин в сфере их участия в осуществлении заботы о детях и выполнении неоплачиваемой домашней работы. Время и интенсивность выполнения женщинами домашних обязанностей, связанных с организацией быта и воспитанием детей, существенно больше, чем участие и вклад мужчин в эти же виды деятельности. Патерналистский характер советской семейной политики укрепил альянс женщины и государства, когда в обмен на лояльность и «правильное» исполнение предписаний гендерного контракта женщины-матери получают поддержку от государства.

Постсоветские трансформации в публичной и приватной сферах закрепили данное распределение гендерных ролей в семье и родительства в качестве устойчивого образца. Идеал буржуазной семьи с четким разделением гендер-

ных ролей, представление о женщине как об «ангеле в доме» стали активно (ре) презентироваться медиадискурсом, формирующим образ «настоящего» мужчины как «сильного кормильца» и женщины-домохозяйки. Эти гендерные роли стали востребованы представителями нового среднего класса, ориентирующегося на западный образец жизни обеспеченного класса. Современное представление об ответственном родителстве, связанное в первую очередь с идеологией интенсивного материнства, также вносит вклад в сохранение гендерно-асимметричного родительства в качестве устойчивого образца. Отсутствие дружественной семье семейной политики, когда посредством институциональных механизмов государство создает условия для большего участия мужчин в повседневной заботе о детях, например, посредством специального отпуска для пап, а также сохраняющиеся высокие «штрафы» за материнство, с которыми сталкиваются женщины при попытках найти баланс профессиональной занятости и материнства, обеспечивают устойчивость такого принципа построения семейных отношений.

«Традиционными» элементами советского брачного поведения были также высокий уровень брачности и высокий уровень разводов. Статистические данные о высокой брачности и высокой разводимости позволяют рассматривать эту модель семейного устройства в качестве устойчивого равновесия. В отсутствие экзогенных факторов, стимулирующих переход к более равным отношениям, а также значительная социальная поддержка такого образца гендерных ролей в семье не позволяют прогнозировать скорого перехода к эгалитаризму в этой сфере.

Напротив, неотрадиционализм гендерных отношений закрепляется на уровне, транслируемом государственной политикой в отношении семьи, (вос)производится СМИ и сложившимся семейным укладом советского типа с преобладающим участием женщин в организации заботы и ухода за детьми, а также представителями старшего поколения, незначительным участием мужчин в выполнении домашних обязанностей. Индустрия «белой свадьбы», расцвет которой пришелся на стабилизацию экономической ситуации 2000-х гг. также участвует в формировании новой традиции создания семьи с обязательным ритуалом и соответствующей атрибутикой. При этом высокая значимость семьи в системе ценностей россиян не таким уж парадоксальным образом соседствует с неустойчивостью и хрупкостью зарегистрированного брака, которая связана как с предыдущим устойчивым трендом частых разводов, характерным для позднесоветского времени, так и со вторым демографическим переходом.

Концепт институционального бриколажа, подчеркивающий, каким образом выстраиваются жизненные стратегии индивидов, в ситуации структурных ограничений и под влиянием гендерной моральной рациональности позволяет проанализировать плюралистичность современной гендерной культуры в России, ее интерсекциональность, возникающую на пересечении пространственного, классового, этнического и религиозного измерений. Используя «теорию четырёх России» Н. В. Зубаревич, необходимо говорить о нескольких семейных укладах, составляющих матрицу гендерного порядка, расположенную между ре- и детрадиционализацией форм семейных отношений. И если про специфику гендерных отношений «первой» России, для которой характерна высокая концентрация представителей городского образованного среднего класса с высоким уровнем человеческого капитала и явным запросом на эгалитарные отношения, собрано

определенное количество социологических данных, то гендерные миры других пока не столь очевидны.

Предложенная в данной статье аналитическая рамка, представляется достаточно продуктивной по своему эвристическому потенциалу, позволяющему социологически осмыслить неоднородные и противоречивые процессы изменений, происходящие в сфере гендерных отношений. Идея И. С. Кона о трех революциях позволяет не только сравнить западный и российский контекст, но и определить специфику происходящих сдвигов как на уровне дискурсивных предписаний, так и на уровне практик. Либерализация гендерных отношений, второй демографический поворот, в контексте которого выстраивается брачно-репродуктивное поведение мужчин и женщин, ориентация на ценности самовыражения и гендерного равенства, характерные для более эгалитарного гендерного уклада «первой» России, совпадают с актуальным макротрендом на «усиление» семьи как новым типом устойчивого равновесия. При этом современную российскую ситуацию скорее следует рассматривать как пример ситуации множественного равновесия, когда сосуществует ряд культурных и социальных конвенций относительно нормативной, правильной модели поведения, создаются условия для сосуществования разных семейных укладов, возможных жизненных сценариев, выстроенных в логике советского, традиционного и эгалитарного образца, каждый из которых имеет определенные ресурсы мобилизации сторонников, чья критическая масса принципиально важна для того, чтобы сформировалось устойчивое равновесие.

Список литературы (References)

Гордон Л., Клопов Э. Человек после работы. Социальные проблемы быта и вне-рабочего времени. М. : Наука, 1972.

Gordon L., Klopov E. (1972) Man after work. Social problems of life and non-working time. M. : Science. (In Russ.)

Здравомыслова Е., Темкина А. Советский этакратический гендерный порядок // Социальная история. Ежегодник. 2003. Женская и гендерная история / под ред. Н. Пушкаревой. М. : РОССПЭН, 2003. С. 436—463.

Zdravomyslova E., Temkina A. (2003) Soviet Etacratric Gender Order. In: *Social History. Yearbook. 2003. Women's and Gender History*. Ed. by N. Pushkarevoy. M.: ROSSPEN. P. 436—463. (In Russ.)

Кон И. Три в одном: сексуальная, гендерная и семейная революции // Журнал социологии и социальной антропологии. 2011. Т. 14. № 1. С. 51—65.

Kon I. (2011) Three in One: Sexual, Gender and Family Revolution. *Journal of Sociology and Social Anthropology*. Vol. 14. No. 1. P. 51—65. (In Russ.)

Кон. И. Человеческие сексуальности на рубеже XXI века // В поисках сексуальности / под ред. Е. Здравомысловой и А. Темкиной. СПб. : Изд-во «Дмитрий Буланин», 2002. С. 24—46.

Kon I. (2002) Human Sexuality at the Turn of the 21st Century. In: *In Search of Sexuality*. Ed. E. Zdravomyslova and A. Temkina. SPb.: Publishing house "Dmitry Bulanin". P. 24—46. (In Russ.)

Кон И. Клубничка на берёзке. Сексуальная культура в России. М. : ОГИ, 1997.

Kon I. (1997). Strawberry on Birch. Sexual Culture in Russia. M.: OGI. (In Russ.)

Печерская Н. Мифология родительства: анализ дискурсивного производства идеальной семьи // Журнал исследований социальной политики. 2012. Т. 10. № 3. С. 323—342.

Pecherskaya N. (2012) Mythology of Parenthood: Analysis of Discourse Construction of Ideal Family. *The Journal of Social Policy Studies*. Vol. 10. No. 3. P. 323—342. (In Russ.)

Чернова Ж. Семья как политический вопрос: государственный проект и практики приватности. СПб. : Изд-во ЕУСПб, 2013.

Chernova Zh. (2013) Family as a Political Issue: State Project and Privacy Practices. SPb.: EUSPb. (In Russ.)

Хасбулатова О. Российская гендерная политика в XX столетии: мифы и реалии. Иваново : Ивановск. гос. ун-т, 2005.

Khasbulatova O. (2005) Russian Gender Policy in the Twentieth Century: Myths and Realities. Ivanovo: Ivanovo State University. (In Russ.)

Хоткина З. Женская безработица и неформальная занятость в России // Вопросы экономики. 2000. № 3. С. 85—93.

Hotkina Z. (2000) Female Unemployment and Informal Employment in Russia. *Voprosy Ekonomiki [Issues of Economics]*. No 3. P. 85—93. (In Russ.)

Beck U., Beck-Gernsheim E. (2002) Individualization. Institutionalized Individualism and Its Social and Political Consequences. London: Sage.

Becker G. S. (1965) A Theory of the Allocation of Time. *The Economic Journal*. Vol. 75. No. 299. P. 493—517. <https://doi.org/10.2307/2228949>.

Becker G. S. (1973a) A Theory of Marriage: Part I. *Journal of Political Economy*. Vol. 81. No. 4. P. 813—846. <https://doi.org/10.1086%2F260084>.

Becker G. S. (1973b) A Theory of Marriage: Part II. *Journal of Political Economy*. Vol. 82. No. 2. P. s11—s26. <https://doi.org/10.1086%2F260287>.

Billari F., Esping-Andersen G. (2015) Re-Theorizing Family Demographic Change. *Population and Development Review*. Vol. 41. No. 1. P. 1—31. <https://doi.org/10.1111/j.1728-4457.2015.00024.x>.

Breen R., Cook L. (2005) The Persistence of the Gender Division of Labour. *European Sociological Review*. Vol. 21. No. 1. P. 43—57. <https://doi.org/10.1093/esr/jci003>.

Cleaver F. (2002) Reinventing Institutions: Bricolage and the Social Embeddedness of Natural Resource Management. *The European Journal of Development Research*. Vol. 14. No. 2. P. 11—30. <https://doi.org/10.1080/714000425>.

Douglas M. (1973) Rules and Meanings. Harmondsworth: Penguin.

Duncan S. (2011) Personal Life, Pragmatism and Bricolage. *Sociological Research Online*. Vol. 16. No. 4. P. 1—12. <https://doi.org/10.5153/sro.2537>.

Duncan S., Edwards R. (1999) *Lone Mothers, Paid Work: and Gendered Moral Rationalities*. London: Macmillan.

Esping-Andersen G. (2009) *The Incomplete Revolution: Adapting to Women's New Roles*. Cambridge: Polity Press.

Fraser N. (1994) After the Family Wage: Gender Equity and the Welfare State. *Political Theory*. Vol. 22. No. 4. P. 591—618. <https://doi.org/10.1177/0090591794022004003>.

Gerson K. (2009) *The Unfinished Revolution*. Oxford: Oxford University Press.

Giddens A. (1992) *Modernity and Self-Identity: Self and Society in Late Modern Age*. Cambridge: Polity Press.

Hakim C. (1999) Models of the Family, Women's Role and Social Policy. A New Perspective from Preference Theory. *European Societies*. Vol. 1. No. 1. P. 33—58. <https://doi.org/10.1080/14616696.1999.10749924>.

Hakim C. (2000) *Work-Lifestyle Choices in the 21st Century. Preference Theory*. Oxford: Oxford University Press.

Hochschild A. R. (2003) *The Second Shift*. New York: Penguin Books.

Hook J. L. (2006) Care in Context: Men's Unpaid Work in 20 Countries, 1965—2003. *American Sociological Review*. Vol. 71. No. 4. P. 639—660. <https://doi.org/10.1177/000312240607100406>.

McDonald P. (2006) Low Fertility and the State: The Efficacy of Policy. *Population and Development Review*. Vol. 32. No. 3. P. 485—510. <https://doi.org/10.1111/j.1728-4457.2006.00134.x>.

Saraceno Ch. (2011) Gender (In)Equality: An Incomplete Revolution? Cross EU Similarities and Differences in the Gender Specific Impact of Parenthood. Discussion Paper 13, 03/2011 ISSN 1865—9608.

van der Lippe T., de Ruijter J., de Ruijter E., Raub W. (2011) Persistent Inequalities in Time Use between Men and Women: A Detailed Look at the Influence of Economic Circumstances, Policies, and Culture. *European Sociological Review*. Vol. 27. No 2. P. 164—179. <https://doi.org/10.1093/esr/jcp066>.